

ВАСИЛИЙ ЕЛЕСИН



РУССКИЕ СУДЬБЫ

(РАЗДУМЬЯ НАД АВТОГРАФАМИ)

*“Я слышу печальные звуки,
которых не слышит никто”*

(Николай Рубцов)

Перечитываю — в который раз! — нетолстые рубцовские сборники, и снова боль тисками сжимает душу: до чего же он был одинок! Тоска заброшенности, бесприютности, неприкаянности бьется в строках стихов спутанной птицей. Пытается спрятаться за усмешкой, за иронией, да где там! Слишком велика она, неохватна, только и утишается перед покоем да величавостью русских раздолий, деревенской глуши...

ЕЛЕСИН Василий Дмитриевич родился 12 октября 1936 года в селе Покровское Вожегодского района Вологодской области. Окончил Вожегодскую среднюю школу, горный техникум в г. Лисичанске, недолгое время работал на шахте, потом вернулся на родину. Был корреспондентом Вожегодской и Тотемской районных газет, редактором Вашкинской районной газеты. Заочно окончил факультет журналистики Ленинградского университета. С 1970 года работал в Вологде, на радио и в областной газете. Первая книжка “Пятачок на берегу” вышла в 1977 году. Автор восьми книг прозы, в том числе романа “Надежда и метель”. Член Союза писателей с 1983 года. Живет в Вологде. В журнале “Наш современник” опубликовал очерк “Деревня: клуб, самодеятельность, телевизор” (“НС” № 10 за 1978 г.).

Вспоминаю его самого: невысокого, сухощавого, лысоватого, то молчаливого, с налитыми угрюмостью глазами, то ироничного, с характерным рубцовским прищуром карих глаз, то — редко — веселого, смеющегося от души, безоглядно.

Однажды довелось услышать, что русский поэт, как правило, “выкладывается” к тридцати—тридцати пяти годам, а дальше, мол, остается в нем только горечь, как укус от перебродившего вина. И примеры приводили, нимало не задумываясь, что тут-то, на рубеже нового, зрелого взлета, их и убивали...

Рубцов, как и многие люди послевоенного поколения, к тридцати годам только-только огляделся в искусстве, только-только почувствовал уверенность в своих силах. Сколько же оставалось-то ему при его скитальческой жизни для полноценного творчества? Пять лет всего-навсего! Но и за эти годы сделал он столько, что иному бы хватило на целую жизнь: ведь он за четыре-пять лет, с середины до конца шестидесятых годов, создал целое направление в русской поэзии.

Есть в стихотворении Николая Рубцова “Осенние этюды” прекрасный образ. Строки эти я ни разу не мог читать без волнения, настолько рельефно рисуют они щедрую душу самого поэта:

*А возле ветхой сказочной часовни
Стоит береза, старая, как Русь, —
И вся она как огненная буря,
Когда по ветру выгнутся ветви
И зашумят, охваченные дрожью,
И листья долго велятся с ветвей,
Вокруг ствола лужайку устилая...*

И сам поэт был подобен стоящей на юру одинокой березе, которая вся напряглась под напором сильного ветра, имя же ему — поэзия. Настолько велика была поэтическая сила, заключенная в таланте Рубцова, что даже в молодости поигрывал он ею, слов... Ыльинный богатырь многопудовой палицей. Возьмем хотя бы вот это, шуточное:

*Скалы встали
Перпендикулярно
К плоскости залива.
Круг Луны.
Стороны зари
Равны попарно,
Волны меж собою
Не равны!
Вдоль залива,
Словно знак вопроса,
Дергаясь спиной
И головой,
Пьяное подобие
Матроса
Двигалось
По ломаной кривой.*

Поэт как бы любит легкостью, с которой выплескиваются из него эти забавные стихи, небрежно играет рифмами, балуется, как ребенок, своей поэтической силой: девать ее некуда, переполняет она, а применения настоящего ей пока нет. Но уже рядом настоящее, уже стремительно идет Рубцов к своему расцвету в середине шестидесятых годов, когда сила его поэтического гения развернется во всей своей мощи и красоте.

Отделенное от нас уже десятилетиями начало шестидесятых не назовешь временем простым: было оно достаточно противоречивым и сложным. С одной стороны — это годы Гагарина, с другой — кубинского ракетного кризиса. Время восстановления исторической правды, время мужания литературы и экономических экспериментов, бурных перестроек, организационной свистопляски. В перестроечном вихре шестидесятых родились, правда ненадолго, странные по своей сути межрайонные газеты. Призванные обслуживать районную глубинку, они первое время числились органами обкома партии, как бы стояли над сельскими и промышленными райкомами и оттого пользовались большей самостоятельностью, чем прежние “районки”.

Волею судьбы я стал ответственным секретарем такой вот межрайонной газеты в Тотьме с первых дней ее основания, то есть с мая 1962 года. Выходила газета “Ленинское знамя” на два бывших (вскоре восстановленных) района — Тотемский и Бабушкинский. Газета, повторяю, формально районным властям не подчинялась, что позволяло в какой-то мере расширить ее проблематику. Получила некоторый доступ на ее страницы и литература, естественно, те произведения, которые так или иначе связаны были с местным краем.

Если перелистать сейчас страницы “Ленинского знамени” за 1962—1966 годы, можно увидеть там стихи А. Яшина, С. Викулова, Н. Рубцова, А. Романова, рассказы К. Коничева, В. Белова, С. Багрова, многих других известных ныне литераторов. А Николай Рубцов не считал зазорным писать для газеты не только стихи, но и корреспонденции, а однажды даже написал стихи к празднику по специальному заказу редакции.

Летом 1962 года на работу в редакцию пришел Сергей Багров, двадцатилетний крепкий парень с густыми бровями и внимательным цепким взглядом. Нас сразу сблизила и одинаковость возраста, и то, что оба пробовали свои силы в стихах и прозе. Вместе с Багровым создали мы при газете литобъединение, которое просуществовало четыре года. Далеко не сразу я узнал, что Сергей учился вместе с Николаем Рубцовым в Тотемском лесотехническом техникуме. Впрочем, тогда, в 62—63-х годах, ни я, ни Багров еще не читали стихов Рубцова. Так и случилось, что познакомился я сначала с автором, а потом уже с его стихами.

Знакомство состоялось при весьма обыденных для газетчика обстоятельствах. В декабре 1963 года редактор “Ленинского знамени” Л. А. Каленистов позвонил мне из своего кабинета:

— Зайди на минутку.

Захожу. На одном из стульев, расставленных вдоль стены, сидит посетитель, одетый явно не по сезону: в осеннем длинном пальто, местами вытертом, шея обмотана шарфом. Темные, настороженные и в то же время оценивающие глаза. Глубокие, несмотря на молодость, залысины у краев лба.

— Познакомьтесь, — сказал редактор. — Товарищ Рубцов, поэт. Живет он в колхозе “Никольский”, хочет с нами сотрудничать. Посмотрите стихи, которые он привез, может, что-то подойдет для газеты.

Ушли в нашу, секретарскую комнату, разговорились. С Багровым они встретились как старые друзья, и Николай охотно рассказал о себе. Оказалось, что учится он в Литературном институте, в Никольском — или в Николе, как он предпочитал называть место своего детдомовского детства — бывает наездами, поскольку родных у него там нет, только знакомые. Позднее, когда я узнал Рубцова ближе, подружился с ним, я понял, как страстно хотелось ему иметь родной уголок в мире, иметь свою маленькую родину, куда можно приезжать и в пору доброй творческой силы, и в дни тревоги, уныния, тоски. Никола не была его формальной родиной, но здесь он впервые осознал себя как человека, здесь еще стояли стены родного детдома, преподавали старые учителя. Куда же и ехать еще, не в Емецк же, откуда он был увезен младенцем. К тому же и любимая женщина здесь жила, мать его единственной дочери. Короче, и официально, и душой считал он Николу своей настоящей родиной, потому и тянула она к себе неудержимо.

Лишь о Николе, как бы отождествляя ее с большой своей Родиной, Россией, поэт мог сказать:

*И опять родимую деревню
Вижу я: избушки и деревья,
Словно в омут, канувшие в ночь.
За старинный плеск ее паромный,
За ее пустынные стога
Я готов безропотно и скромно
Умереть от выстрела врага.*

Подборка стихов Николая Рубцова, которую он оставил в редакции после первой нашей встречи, появилась в “Ленинском знамени” 14 января 1964 года с предисловием Сергея Багрова. В предисловии говорилось:

“Дерзким спорщиком и отчаянным парнем с горящими глазами на смуглом лице — таким запомнился Николай Рубцов у себя на родине, в утонувшем среди черемух и берез селе Николе. Нелегким путем шагал он к своим творческим удачам. Незаконченный техникум в Тотьме, студеные штормы Ледовитого океана, бегущие к горизонтам железные дороги, гигантские слаломы в Хибинских горах, горячие вахты у доменных печей и, наконец, Москва, Литературный институт имени Горького. Сейчас Николай учится на втором курсе. Стихи его печатаются в центральных газетах и журналах. Поэт уверенно держит путь в большую поэзию. На днях Николаю Рубцову исполнилось двадцать восемь лет. Публикуемые здесь его стихотворения были напечатаны в газете “Комсомольская правда” и еженедельнике “Литературная Россия”.

Небольшая эта подборка состояла всего из двух стихотворений: “Я весь в мазуте” и “В океане”.

С этого и началось сотрудничество Рубцова в “Ленинском знамени”, которое продолжалось два с лишним года, правда, с перерывами. На летние каникулы Николай Михайлович приехал в июле, а 15 августа в газете печатается страница “У нас в гостях поэт Николай Рубцов”. Здесь были помещены стихи “Родная деревня”, “Всезнающей вещей старухе”, “Сапоги мои скрип да скрип” (оно было посвящено Сергею Багрову) и другие. 29 августа опубликованы еще два стихотворения: “Звенит, смеется, как младенец” и “По утрам, умываясь росой”, 31 октября — “В горнице”, “Прощальный костер”, “На реке”, “Гроза”, “Рассказ о коммунисте”. В праздничном номере за седьмое ноября напечатано стихотворение Рубцова, сделанное им к празднику по заказу редакции. Называлось оно “Октябрьские ветры”. Кстати сказать, стихи “Рассказ о коммунисте” и “Октябрьские ветры” почти не встречаются ни в прижизненных, ни в посмертных сборниках. Думаю, что стоит привести их здесь в той редакции, в какой они были предложены автором “Ленинскому знамени”.

РАССКАЗ О КОММУНИСТЕ

*Он поднял флаг
Над сельсоветом,
Над тихой родиной своей,
Над всем старинным белым светом
Он поднял флаг!
В краю полей
Он дорожил большим доверьем
И даже,
Брошенный женой,
Не изменил
Родной деревне,
Когда ей было тяжело.
Он не стремился к личной славе,
Не верил скучным голосам.
Он знал: кто едет,
Тот и правит!
И в трудном деле
Правил сам!
За изобилье
В каждом доме,
За добрый говор —
Напрямик! —
Он твердо шел,
Собою скромн
И одновременно велик...*

И другое стихотворение:

ОКТЯБРЬСКИЕ ВЕТРЫ

*О ветры! Октябрьские ветры!
Не зря вы тревожно свистели!
Вы праздник наш, гордый и светлый,
В своей сберегли колыбели.
Вы мчались от края до края —*

*И день разгорался цветущий!
Но, прожитый день прославляя,
Мы смотрим, волнуясь, в грядущий!
Мы смотрим вперед, как матросы
Сквозь бури идущего флота:
Еще ожидают нас грозы,
Работа, работа, работа!
Еще беспокойны и долги
Дороги под флагом бессмертным,
Еще на земле не умолкли
Октябрьские сильные ветры!*

Конечно, к стихам, написанным “по заказу”, Рубцов относился не как к “настоящим”, выстраданным душой. Этим, видимо, и объясняется, что два вышеприведенных стихотворения не включались им в поэтические сборники. Но ведь и здесь прорываются чисто рубцовские интонации: “Он знал: кто едет, тот и правит!” Не отсюда ли известное:

*Я повода оставил,
Гляжу другим вослед.
Я ехал бы и правил,
Да мне дороги нет...*

В том же праздничном номере газеты за 7 ноября 1964 года напечатана и корреспонденция Николая Рубцова “Огонек в окне”, в которой поэт в первый и, пожалуй, в последний раз публично касается деталей своего военного, детдомовского детства. Цитирую:

“И предо мной мгновенно встали картины иного времени, когда Нина Ильинична была еще молодой учительницей, а мы, можно сказать, малышами. Это было тревожное время. По вечерам деревенские парни распевали под гармошку прощальные частушки:

*Скоро, скоро мы уедем,
И уедем далеко,
Где советские снаряды
Землю роют глубоко.*

А мы по утрам, замерзая в своих плохоньких одеждах, пробирались сквозь мороз и сугробы к родной школе. Там встречала нас Нина Ильинична и заботилась о нас, как могла. Кому ноги укутает потеплее, кому пуговицу пришьет к пальтишку. Всяких забот хватало у нее: и больших, и малых.

Все мы тогда испытывали острый недостаток школьных принадлежностей. Даже чернил не было. Бумаги не было тоже. Нина Ильинична учила нас изготовлять чернила из сажи. А тетради для нас делала из своих книг. А мы с великим прилежанием выводили буквы по этим пожелтевшим страницам на уроках чистописания.

По вечерам зимой рано темнело, завывали в темноте сильные ветры. И Нина Ильинична часто провожала учеников из школы. Долго по вечерам горел в ее окне свет, горел озабоченно и трепетно, как сама ее гордая душа. И никто из нас знать не знал, что в жизни у нее случилось большое горе — погиб на фронте муж...”

Часто печатался Рубцов в Тотемской газете и в 1965 году. В новомодном номере помещено стихотворение “Мороз”, 9 января — “Окошко, стол, половики...” Четвертого марта газета публикует его вторую корреспонденцию из села Никольское — о фельдшере В. А. Чудинове, 10 июля помещает подборку стихов для детей, в том числе “Медведь”, “Коза”, “Лесник”. Кстати сказать, “Лесник” тоже не попал в рубцовские сборники. Вот это стихотворение:

ЛЕСНИК

*Стоит изба в лесу сто лет,
Живет в избе столетний дед.
Сто лет прошло, а смерти нет,*

*Как будто вечен этот дед,
Как вечен лес, где столько лет
Он все хранит от разных бед.*

17 июля 1965 года в “Ленинском знамени” опубликовано стихотворение “Цветок и нива”, 23 сентября — “Дмитрий Кедрин”...

Всего за два года, с 1964 по 1966-й, Николай Рубцов опубликовал в нашей “районке” больше 20 стихотворений. И многие из них впервые увидели свет именно здесь.

Всегда ли все было гладко с этими публикациями? К сожалению, не всегда. Надо оговориться, что отношение к стихам местных авторов в районных газетах во все времена было прохладным, а в межрайонных, где поток самодеятельных, а то и откровенно графоманских стихов был намного больше, значение им, прямо скажем, придавалось небольшое. Поэты “с именами” печатались редко, а “самодеятельные” авторы, в том числе и члены литобъединения при редакции, как правило, бывали довольны, если сотрудники, готовя их стихи к печати, доводили их, как говорится, “до кондиции”.

Само собой, нам и в голову не приходило править Рубцова, ведь он учился в Литинституте. К тому же, пусть и не совсем отчетливо, мы все-таки чувствовали размах и силу его таланта. Но то, “менторское”, что вырабатывалось в нас во время возни с “самотеком”, все же въедалось глубоко. Помню, какое неблагоприятное впечатление произвело на нас с С. Багровым рубцовское стихотворение “Сенокос” (“С утра носились, сенокосили...”). Зная сельский труд не понаслышке, зная, как “ухлестываются” мужики и бабы на сенокосе, мы не могли принять облегченности, присущей, как нам тогда казалось, этому стихотворению. И мы написали Рубцову совместное письмо, в котором попытались объяснить свою позицию и доказать, что публиковать “Сенокос” не стоит. Николай Михайлович согласился с нами, более того, он не включил это стихотворение и в два своих последующих сборника: “Звезда полей” и “Душа хранит”.

Были ли мы правы? Легко сказать “нет” сейчас, но ведь тогда-то мы считали себя правыми безусловно, да и Рубцова, в общем-то, сумели убедить в своей правоте.

Второй случай с публикацией рубцовского стихотворения “Окошко, стол, половики...” чуть не привел к серьезной размолвке. Во время верстки четвертой полосы, на которой стояло это стихотворение, верстальщики потеряли целое четверостишие — заключительную строфу. Вставлять его значило ломать всю полосу, а это большая задержка, и мы, посоветовавшись, решили оставить стихотворение урезанным, но извиниться перед автором за оплошность. Однако извинений Рубцов не принял, произошел довольно крупный разговор. “Ведь это же — сти-ихи!” — почти кричал он, особенно напирая на слово “стихи”. В конце концов отношения восстановились, но “потерянного” четверостишия Николай Михайлович не мог забыть долго. Стихи были опубликованы девятого января, но лишь в конце февраля получили мы от него корреспонденцию о фельдшере Чудинове. В сопроводительном письме говорилось:

“Посылаю заметку о нашем фельдшере. Редактируй и сокращай как хочешь (это не стихи), но только хоть что-нибудь из этой заметки надо бы напечатать.

Живу неплохо. Хожу в лес рубить дрова. Только щепки летят!”

Чувствовал ли он уже тогда свое одиночество? Думаю, что чувствовал, и очень остро. Надо учесть, что деревня всегда настороженно и недоверчиво относится к странным людям, к чужакам, а именно таким и представлялся тогда в Николае Рубцов: живет с деревенской бабой не зарегистрированный, нигде не работает, что-то там пишет, выпивает, а деньги, да и то небольшие, получает от случая к случаю. Все это вызывало недоверие, отчужденность.

Материальное положение его было отчаянное, первая книжка стихов еще только готовилась в Северо-Западном книжном издательстве, публикации в журналах были редки, как дожди в засуху. Потому и брался он даже за газетные заметки, хотя гонорар в районке был, конечно, мизерный.

В середине октября 1965 года я получил от Николая письмо. В конверт была вложена маленькая книжечка “Лирика” с надписью:

“Другу Васе Елесину на добрую память. Н. Рубцов. 13 октября 1965 года”. В письме, сопровождавшем этот дорогой подарок, Николай писал:

“Дорогой Вася!

Я опять в Николе. На сей раз я командирован сюда на длительный срок Союзом писателей.

Возможно, что скоро уеду.

У меня вышла книжечка. Конечно, тут далеко не все, на что я способен. Ну пусть. Посылаю одну книжечку тебе. Найдешь нужным — отрецензируй, я не буду против.

А еще в десятом номере “Октября” вышла большая подборка моих стихов. Можешь посмотреть.

Вот вкратце такие мои дела.

Сейчас я возьмусь писать два очерка по заданию журнала “Сельская молодежь”. Вполне возможно, что ничего не напишу.

Вася, милый, как ты там живешь в своей скучной, но хорошей Тотье? По-прежнему? Есть ли новости?

В Москве я побывал у Александра Яшина. Осталось очень хорошее, но печальное воспоминание: слишком уж часто он болеет.

Ну, жму руку. Напиши мне. Буду рад. С приветом Н. Рубцов”.

Получив письмо, я сразу же прочел книжечку и немедленно ответил Рубцову. Считая себя обязанным честно высказать свои замечания, написал, что в некоторых стихах не мешало бы поубавить восклицательных знаков. Высказал мысль, что слово “трезвонь” в стихотворении “Старый конь” употреблено неудачно. Один колокольчик под дугой ~~трезвонить~~ не может, для трезвона нужно, как правило, три колокольчика, тогда и получится “три звона”. Этим замечанием вызваны строки ответного письма Рубцова. Николай Михайлович писал (письмо датировано 24 октября 1965 года):

“Я рад, что книжечка моя тебе в общем-то понравилась. С твоими дружескими (очень уж скромными) замечаниями я согласен. Да, есть у меня пристрастие к восклицательным знакам. Ставить их где надо и не надо. Ну, а насчет того, что колокол под дугой звенеть не может, даже “легонечко”, когда лошадь идет шагом, — это, Вася, плод твоей великолепной фантазии. Сейчас вот бабки говорят: “Колокольчик на любой животине всегда звенит”. Да и как ему не звенеть, если дороженьки-то наши настолько ухабисты, Вася, что тут и дуга, и оглобли, и груз, не только колокольчик, — все запоеет. Ну да Бог с ним...”

Переписка эта имела неожиданное для меня продолжение, правда, устное. За десять дней до гибели Рубцова мы с Сергеем Багровым навестили поэта в его однокомнатной квартирке на улице Яшина в Вологде. Среди разговора он вдруг взял меня за руку:

— Знаешь, я недавно перечитывал старые письма и нашел твое, ну то, о колокольчике. Ты ведь прав был, я тогда просто письмо невнимательно почитал...

Каким Рубцов был в жизни? Разным, неодномерным, как и все люди. Забывчивым в житейских мелочах, не умеющим позаботиться о себе. Будь он, что говорится, более “пробивным”, и книги, вероятно, появились бы раньше, и квартиру в Вологде он получил бы не за год до своего конца...

Со стороны иной раз казалось, что Николай абсолютно равнодушен к материальному достатку, к деньгам, к вещам, как будто на этой земле он был просто гостем. Он мог сесть в поезд, забыв купить билет: не сознательно ехать зайцем, а именно — позабыть. Почти не обращал внимания на свою внешность, впрочем, люди нашего, позднего военного поколения, всю юность проходившие в заплатах, всегда оставались равнодушными к “тряпкам”. Осенью и зимой носил он, казалось, вечное, как тогда называли, “семисезонное” пальто, длинный шарф, заурядный костюмчик или длинный вязаный свитер. Из-за небрежного внешнего вида случалось ему попадать в неприятные положения. Он сам рассказывал, например, о таком случае. Собравшись из Москвы в Николу, купил дочке Лене подарок — роскошную куклу, которая заняла весь небольшой чемоданчик. С ним он и разгуливал по Ярославскому вокзалу столицы в ожидании поезда. Почему-то, из-за одежды, что ли, обратила на него внимание милиция. Увели в отделение, проверили документы, спросили, что в чемодане.

— Кукла, — ответил Рубцов.

— Как, только кукла?

— Только кукла.

— Откройте.

Убедившись, что поэт говорит правду, его отпустили.

А вот другая история с чемоданом, случившаяся гораздо позже, когда поэт жил уже в Вологде. Ее рассказал мне журналист Михаил Котов, который в то время работал редактором Харовской районной газеты. После очередного семинара редакторов в Вологде собрались они в гостинице “Северная”, в компанию журналистов попал и Рубцов. Наутро Михаил Иванович обнаружил у себя под кроватью маленький чемоданчик-“балетку”. Пospрашивал приятелей — никто не знает, чей. Решили открыть. В чемодане лежало с десяток купленных на рынке картофеля, а под ними — листки со стихами. Стихи были рубцовские — так и отыскался хозяин “балетки”.

В тотемский период, с 1964 по 1965 годы, мы часто встречались с Николаем, но, к сожалению, в памяти остались лишь отрывочные эпизоды. Помню, как подарил я ему томик стихов Тютчева. И по словам Багрова, и по замечаниям самого Рубцова я знал, что Тютчева он очень любит. Николай принял подарок со смущенной улыбкой, как-то грустно посмотрел на меня и сказал:

— А может, лучше не дарить? Все равно ведь потеряю в моих бесконечных переездах. И будет жаль...

Как-то зашли они с Багровым ко мне на квартиру уже под “мухой”, стали звать прогуляться, что само собой значило — “добавить”. Меня ждало какое-то неотложное дело, уйти, тем более на весь вечер, я не мог и сказал с сожалением:

— Идите уж вы одни. Что поделаешь, трезвый конному не товарищ!

Именно так и оговорился. Как расхохотался Рубцов! Никогда больше не слышал я у него такого непосредственного, заливистого, чисто мальчишеского смеха.

Глубокой осенью 1964 года мы с Сергеем Багровым пошли в отпуск одновременно и решили съездить в Москву, а заодно и проведать Рубцова. До Вологды добрались паромом и в тот же день сели в московский поезд. Поутру в Москве долго разыскивали общежитие Литинститута, а когда наконец нашли и попали в вестибюль, дежурная нас огорошила:

— Рубцов у нас больше не живет.

— А где же он?

— Ушел из института, а куда уехал — не знаю.

Огорченные, вышли мы на крыльцо и тут же увидели Николая, который стоял в кружке громко хохочущей молодежи. Забавлялись они тем, что гадали о своей судьбе по книге какого-то восточного классика: очередной тыкал пальцем в наугад раскрытую книгу и читал подвернувшееся четверостишие, вызывавшее порой безудержный смех. Заметив нас, Рубцов быстро подошел, обрадованно улыбаясь, крепко пожал руки. В одну минуту нас, заслонив плечами от глаз вахтерши, втолкнули в лифт, подняли куда-то на шестой этаж.

И “расходился праздник незначай”, как писал поэт в одном из своих стихотворений. За столом оказались Анатолий Передреев, поэт с Кавказа Хасби, переводами стихов которого занимался Рубцов, кто-то еще... Я попытался сфотографировать это застолье, но света в комнате было мало, за окнами хмурился осенний октябрьский денек. На фотографии можно лишь разобрать, как Рубцов протягивает через стол руку Передреву. Фотографию эту я через много лет подарил Анатолию во время писательской поездки на теплоходе в Тотьму.

А в тот московский день мы еще раз занялись гаданием: пускали из окна шестого этажа бумажных птичек, по их полету каждый пытался определить свою судьбу: кому-то длинный и счастливый взлет, кому-то скорое падение. “Птичка” Рубцова круто взмыла вверх, потом так же резко начала пикировать, и он заметно помрачнел.

Как и водится в молодом студенческом застолье, да еще среди поэтов, скоро вспыхнул оживленный разговор, перешедший в спор. Я неосторожно сказал, что стихи современных поэтов кажутся мне недостаточно социальными.

— Разве можно так судить о поэзии! — вскипел Рубцов. — Поэту нельзя сказать: будь социальным! Это все равно что ветру сказать: ну-ка, подуй! Поэзия стихийна, как ветер!

Я часто потом задумывался над этим рубцовским убеждением. Что оно было убеждением, можно не сомневаться — в его стихах не раз и не два проскальзывает

та же мысль. Как же рождались его стихи? Внезапно, как налетевший шквал? Или все же после долгих раздумий? Тайна творчества не столь проста, чтобы кто-то в двух словах мог ее объяснить. Не брался объяснять и Рубцов, более того, он, как мне кажется, не любил разговаривать на подобные темы, хотя в стихах его порой и прорываются попытки осмыслить процесс творчества, как, например, в стихотворении “Брал человек холодный мертвый камень...”

Кое-какие косвенные свидетельства о поводах рождения некоторых рубцовских стихов можно отыскать в воспоминаниях современников поэта. Например В. И. Белов не раз публично рассказывал, как Рубцов в Литинституте просил его разрешения использовать для стихотворения строку из его этюда. Строка эта, “Тихая моя родина”, стала началом одноименного рубцовского стихотворения, посвященного Белову.

Толчком к написанию одного из широко известных стихотворений “Сапоги мои скрип да скрип...” послужила фраза, сказанная поэту Сергеем Багровым во время его поездки в Николу:

— Ведьмы тоже по-детски плачут.

Не этот ли “детский плач” подкупил поэта во время его первого знакомства со своей убийцей Людмилой Дербиной?

Взгляд подлинного поэта на окружающий мир всегда неординарен. Только настоящий поэт может увидеть в примелькавшемся особенное, в обычном — удивительное. Этот дар в высшей степени был присущ и Н. М. Рубцову. Примеров тому немало в его лирике. Это и “зеленые цветы”, и “муха — это тоже самолет”, и то, что “собака — друг человеку. Одному. А другому — враг”. Примеры можно вспоминать до бесконечности.

В одном из своих стихотворений Рубцов сказал: “Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто”. Возможно, и звуки эти, не слышимая другим музыка тоже служила толчком к рождению стихов: восприимчив к музыке он был необычайно. В уже цитированном здесь письме, датированном концом 1965 года, Николай Михайлович сообщал мне:

“О себе писать нечего. Могу только сказать, что очень полюбил топить печку по вечерам в темной комнате. Ну, а слушать завывание деревенского ветра осенью и зимой — то же, что слушать классическую музыку, например, Чайковского, к которому я ни разу не мог остаться равнодушным”.

Рубцов сам играл на гитаре и на гармошке, сам подбирал музыку ко многим своим стихам, она и сейчас еще звучит в рубцовских песнях, бытующих на Вологодчине, и хорошо еще, если они превратятся в народные, а не исчезнут...

В начале 1966 года литобъединение при тотемской районной газете “Ленинское знамя” распалось. Уехали в Вологду Николай Рубцов и Сергей Багров. В июле этого же года меня назначили редактором вашкинской районной газеты “Волна”, которая начала выходить во вновь организованном районе на северном берегу Белого озера, почти за пятьсот километров от Тотьмы. Центром нового Вашкинского района стал укрытый под шапками сосен поселок с поэтическим названием Липин Бор. И почти год, до лета 1967 года, мне не доводилось больше встречаться с Рубцовым.

Тем большей была радость нечаянной встречи, когда в августе 1967 года он неожиданно появился в Липином Бору, причем встретились мы при обстоятельствах весьма экзотических. В тот день мы с женой, набродившись по роскошным липиноборским лесам, возвращались домой с полными корзинами белых грибов. Когда до поселка оставалось километра полтора, вдалеке, меж редких вековых сосен показалась фигура человека.

— До чего же похож на Колю Рубцова! — удивился я.

— Не может быть, — возразила жена. — Откуда Коле здесь взяться, за триста километров от Вологды, в незнакомом лесу!

И тем не менее это был он. Объяснил все просто:

— Зашел к тебе на квартиру, мать сказала, что ты в лесу. Попросил ведро под грибы и пошел куда глаза глядят. Красота здесь у вас! А вон — белый гриб! А вон — еще!

Коля радовался, как ребенок. Думал ли я тогда, что и эти грибы попадут в рубцовские стихи? Помните “Гуляевскую горку”?

*Да! Но и я вполне счастливый тип,
Когда о ней тоскую втихомолку
Или смотрю бессмысленно на елку
И вдруг в тени увижу белый гриб!*

Я стал звать Николая домой.

— Вы идите! — ответил он, возбужденный грибной охотой. — Я еще поброжу немного.

— Не заблудишься?

— Нет, что ты! В лесу я хорошо ориентируюсь.

Мы успели прийти домой, переоделись, вычистили грибы, они уже исходили паром на сковородке, а Рубцова все не было. Наконец он появился, слегка под хмельком и с пустым ведром.

— А где же грибы? — пошутила моя мать, встречая гостя.

— Понимаете, Анна Александровна, зашел я в здешнюю чайную стакан плохого вина выпить, а ведро поставил у крыльца в крапиву — почти полное, и все белые! Вышел из чайной — ведро на боку и совсем пустое...

Переодевшись в сухую рубашку, он сел за стол, с аппетитом принялся за грибы. После ужина мы пошли побродить по поселку, напоминавшему большой сосновый парк. Я хотел было повернуть в сторону озера, которое в августовскую тихую пору было поистине белым, оправдывая свое название, но Рубцов потянул меня вдоль по улице, к лесу. Разговаривая (если бы помнить, о чем!), мы встретили знакомого мне милиционера, который жил на квартире у нашего редакционного завхоза. Тот стал приглашать в гости.

— Не могу, — отбивался я. — Видишь, у меня у самого гость!

— Пойдем, Вася! — вдруг решительно сказал Рубцов.

— Да зачем?

— Пойдем. Ты ведь знаешь, что я поэт, что мне все интересно! Интересно вот посмотреть, как милиционеры живут...

В тот приезд Рубцов пробыл в Липином Бору несколько дней, а недели через две приехал снова, на этот раз в составе группы вологодских писателей, на теплоходе, вместе с Александром Яшиным, Беловым, Романовым, Коротаяевым и другими. На вечере в районном Доме культуры он прочитал шуточное стихотворение “Я забыл, как лошадь запрягают” из только что вышедшей книги “Звезда полей”. Читал он четко, выделяя ударные и конечные слоги, слегка прищурившись, жестикулируя и улыбаясь.

В тот же вечер он подарил мне “Звезду полей” с автографом: “Дорогому Васе Елесину, давнему другу и земляку. Н. Рубцов”.

Третий раз Николай Михайлович приехал в Липин Бор в декабре 1967 года. Был весел, балагурил, шутил. В те дни “Правда” опубликовала два его стихотворения: “Детство” и “Шумит Катунь”. Рубцов радовался:

— Как здорово: мои стихи прочтут семь миллионов человек!

Потом обратился ко мне:

— Не можешь ли ты дать задание машинистке перепечатать мои стихи? Видишь ли, потерял рукопись новой книжки, а ее надо посылать в издательство.

— Да как машинистка будет печатать, если не с чего? — удивился я.

— Я ей продиктую.

— А сколько стихотворений было в рукописи?

— Сто двадцать.

— И ты все помнишь наизусть?! — изумился я.

— Конечно! — удивился в свою очередь Рубцов. — Ведь это — мои стихи! Распорядись! Я, может, тоже редактором буду, отплачу добром!

Он начал диктовать. Да, он помнил все свои стихи. Дело здесь, видимо, не только в феноменальной памяти Рубцова, но и в том, что поэт любовно отделявал каждое стихотворение в уме, мысленно много раз шлифовал его даже после того, как оно попадало в сборник. Становится понятным и многообразие вариантов в рубцовских публикациях.

Об этом и сам поэт писал в одном из своих писем С. В. Викулову, в конце 1964 года:

“Все последние дни занимаюсь тем, что пишу повесть (впервые взялся за прозу), а также стихи, вернее, не пишу, а складываю в голове. Вообще я

никогда не использую ручку и чернила и не имею их. Даже не все чистовики отпечатываю на машинке — так что умру, наверно, с целым сборником, да и больше, стихов, “напечатанных” или “записанных” только в моей беспорядочной голове” (“Наш современник”, № 12 за 1981 год).

Так оно, скорее всего, и вышло: унес от нас Рубцов сборник готовых, никем не читанных стихов, да и только ли стихов? Помнится один разговор с ним, уже в Вологде, когда я спросил, не тянет ли его к поэме. Спросил с шутливой осторожностью, зная, как не любит говорить он о себе и о своих планах. Николай Михайлович принял вопрос всерьез, ответил не сразу, а немного помолчал:

— Возможно, что приду и к поэме... — И, воодушевляясь: — Великолепная тема есть — нашествие Чингисхана. Какие времена! А ведь и тогда выстояла Русь, гибелью своей выстояла!

Доброй памятью о последней встрече с Рубцовым в Липином Бору стало его стихотворение “Сосен шум”, давшее позднее название целому сборнику. Как все мы радовались в редакции, услышав это стихотворение из уст самого Рубцова!

Оно было написано в ночной редакции нашей газеты, где, за неимением жилья, обитал тогда молодой Сергей Чухин, и Рубцов, полюбивший его, как младшего брата, решил переночевать тут же, на редакционном диване. Услышав стихотворение, я шутливо спросил:

— Что же ты написал:

*Сижу в гостинице районной,
Курю, читаю, печь топлю,
Наверно, будет ночь бессонной,
Я так порой не спать люблю!*

Ведь сидел-то ты в редакции?

— Так типичнее, — улыбнулся он. — А то подумают, будто у тебя не редакция, а ночлежка...

Любители рубцовской поэзии, вероятно, обратили внимание, что сосны — одна из любимых пейзажных деталей в его лирике. Сосны и ветер. Ветер и бор. Шум сосен как лейтмотив проходит по многим стихам поэта...

С лета 1968-го по осень 1970 годов я учился в Москве, с Рубцовым практически не встречался, в это время он жил в Вологде. Запомнился лишь один мимолетный разговор при случайной встрече на улице. Запомнился потому, что я, желая сделать приятное поэту, неожиданно попал впросак. В кругу знакомых в Москве я не раз слышал шутливую песенку: “Пшеница мелется, коровы телятся, и все на правильном таком пути. Ах, замети меня, метель-метелица, ах, замети меня, ах, замети!” Были в подслушанной песне и такие строки: “Ах, что я делаю, зачем я мучаю больной и маленький свой организм? Ах, по какому же такому случаю все люди борются за коммунизм?!”

Мне говорили, будто песенку эту написал Николай Рубцов, и при встрече я сказал ему:

— Знаешь, твою песенку вся Москва поет!

— Какую? — недоверчиво посмотрел он.

— Ту самую, где “ах, по какому же такому случаю все люди борются за коммунизм?”

— Но я же не так писал! — возмутился Рубцов.

— А как? — опешил я в свою очередь.

— Я написал “ведь люди борются за коммунизм!” Сволочи, все исковеркали! Я опровержение писать буду!

— Да куда опровержение-то? Песня не напечатана, а на каждый роток не накинешь платок...

— Не знаю куда! В Организацию Объединенных Наций! Черт побери! — и, помрачнев, торопливо распрощался.

Доходили слухи, что Рубцов последнее время стал больше пить, что на этой почве происходят у него стычки с друзьями, с начальством. Однажды, рассказывали очевидцы, в ту пору журналисты молодежной газеты “Вологодский комсомолец”, Рубцов, слегка под хмельком, пришел в редакцию, принес две бутылки пива и отправился в другой конец коридора, с середины которого

возвышалась парадная лестница на второй этаж, в Вологодский горком партии. По лестнице как раз спускался второй секретарь горкома Жабчиков.

— Кто такой? — строго спросил он поэта. — Зачем здесь пьяный болтаешься?

— Да пошел ты! — ответил Рубцов, не останавливаясь.

— Ты с кем разговариваешь! Я — Жабчиков.

— А я — Рубцов!

Секретарь стремительно развернулся, поднялся наверх и, позвонив в милицию, приказал немедленно взять в вытрезвитель “какого-то забулдыгу Рубцова”. Вскоре приехала милицейская машина. Ребята из молодежной газеты упростили милиционеров не везти Рубцова сразу в вытрезвитель, дожидаться, по крайней мере, решения секретаря обкома партии. Поэтому, видимо, Рубцов и был доставлен сначала в отделение милиции, где, не долго думая, достал из кармана бутылку пива и ловко открыл ее об угол стола.

— Ты что делаешь! Забыл, где находишься!

— А что, русскому человеку уж и пива выпить нельзя, где он захочет?

Скандал после вмешательства секретаря обкома удалось замять.

...Как-то, проходя по Вологодскому кладбищу мимо могилы Рубцова, я вдруг увидел надгробную плиту, на которой значилось имя Жабчикова. Да, смерть уравнивает всех. Однако не зарастает тропа к рубцовой могиле, оставляя в стороне могилу некогда грозного секретаря...

После учебы я получил назначение на работу в Вологодский радиокомитет, и с середины августа 1970 года по январь 1971 года жил в общежитии областной совпартшколы, дожидаясь квартиры. В эти месяцы мы встречались с Рубцовым часто. Так, в начале сентября ко мне на работу заглянул Саша Рачков, который тоже был хорошо знаком с Николаем.

— Рубцова в больницу положили, — сообщил он.

— Что с ним? — испугался я.

— Не знаю точно, с рукой что-то...

— Надо проведать.

Был чистый августовский вечер, то самое время, когда люди расходятся с работы. Возле хирургического корпуса горбольницы, у рослых старых берез встретили Николая Михайловича. В больничной пижаме, небритый, сильно облысевший, он казался усталым и старым. Поздоровавшись, попросил нас сходить к нему на квартиру, взять и принести почту из ящика. Почту мы принесли, но, видно, того, чего ждал Рубцов, в ней не было, и он снова ушел в себя, сделался неразговорчивым, хмурым. Спросили, что у него с рукой — она была забинтована.

— Да так... — отмахнулся он. — Порезался случайно...

Случайно ли? Но расспрашивать дальше не решились — не до откровений было ему. Пытаясь как-то расшевелить Рубцова, Саша Рачков, не расстававшийся с фотоаппаратом, сфотографировал Николая под березами, потом нас вдвоем. Фотография, сохранившаяся у меня, постарела от времени, но и на ней можно прочесть глубокую, заматерелую тоску в рубцовских глазах. Кто знает, не в этот ли вечер родились пронзительные строки:

*В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез...*

Начиналась последняя в его жизни осень, и вместе с дождями вошла в его жизнь убийца. Мог ли Рубцов избежать печального конца? Теоретически — да. В последние годы он очень тосковал по налаженному, устроенному быту, несколько раз звал в Вологду свою жену Генриетту Михайловну Шамахову — она подробно рассказала об этом в статье “Русь моя, люблю твои березы” (“Красный Север” за 15 августа 1995 года), которую я готовил к печати. Но сначала мешала их соединению жилищная неустроенность поэта, потом и другие обстоятельства. Вот как описывает Генриетта Михайловна их последнюю встречу в Тотьме:

“Конец сентября 1970 года. У культработников Тотемского района был семинар, а последний день занимались в Доме культуры. Под вечер меня вдруг вызывают. Я вышла на улицу — передо мной стоял Рубцов. Как он узнал, что я в Тотьме?

— Зачем ты здесь?

— Приехал узнать, когда вы с Леной переедете ко мне.

— Мы не собираемся. Лена ходит в первый класс. Разве что весной...

А он говорит:

— Я ведь могу жениться.

— Женись, — говорю, — давно бы надо. Хватит одному-то болтаться.

И вдруг он сказал:

— А до весны я, может, не доживу”.

Звал он Генриетту к себе и в гостях у Василия Ивановича Баранова, и в каюте теплохода, в которой вместе ехали: он — в Вологду, она — в Николу. Все могло бы измениться, если бы и он остановился в тот раз в Николе. Не остановился...

В один из октябрьских вечеров я пришел к Николаю Михайловичу вместе со своим племянником Николаем Елесиным, писавшим стихи и страстно мечтавшим познакомиться с Рубцовым. Я представил племянника, Николай Михайлович крепко пожал ему руку, приветливо заглянул в глаза:

— Тетка, значит? Ну, садись.

И попросил почитать стихи.

Стихи были слабыми, читал их Николай тоже слабым, глуховатым голосом. Рубцов задумчиво слушал, потом потребовал:

— Еще читай!

О чем он думал в те минуты? Не о том ли, что тысячи молодых ребят пытаются излить свое недоумение перед миром и свою любовь к нему в неумелых стихах, а порой просто мечтают о славе, не подозревая, сколь тернисты и круты тропинки к ней?

Выслушав несколько стихотворений, Рубцов взял свой сборник “Душа хранит” и размашисто написал на нем: “Коле Елесину, родному поэту. Н. Рубцов”. Поэтом Коля Елесин не стал, но рубцовский подарок бережно хранил до самой смерти — он тоже не зажился на этом свете, умер в сорок девять лет.

Десятого января 1971 года мы зашли к Николаю Михайловичу вместе с Сергеем Багровым. Поэт был простужен, сидел в своей крохотной комнатке в валенках и в зеленом свитере. Людмила Дербина стирала что-то на кухне в тазу.

Мы долго вспоминали Тотьму, говорили об общих знакомых. Был у нас с собой магнитофон, надеялись записать рубцовские стихи в исполнении автора, но читать стихи у Николая не было настроения, магнитофон так и не раскрыли: успеется, думали, не последний раз видимся!

Оказалось — последний...

Как часто потом мучило сознание, что какое-то незначительное отклонение в чередовании мелких житейских событий могло бы повернуть, изменить ход роковых обстоятельств! Если бы зайти к Рубцову накануне убийства... Если бы соблазнить его съездить вместе в командировку... Если бы, если бы...

Только ли Дербина убила его? Думаю, что и обстоятельства тоже. Нищенское существование: что такое четыре тоненьких книжечки общим тиражом менее сорока тысяч экземпляров для тридцатипятилетнего поэта! Многие его гораздо менее талантливые сверстники имели к этому возрасту по полтора-два десятка сборников. На одни юбилеи тратилось в те дни денег столько, что хватило бы Рубцову на полгода безбедного существования. Бездомность и семейная неустроенность, а в результате — частые и обильные попойки...

Убежденность в своей талантливости, избранности и непонимание окружающих, особенно чиновников от литературы и искусства, смотревших на Рубцова как на конченую, спившуюся личность...

И вспоминалось опять же рубцовское: “Но была ли кабацкая грусть? Грусть, конечно, была, да не эта!”

Да, именно тогда, в мрачном семидесятом, почувствовал он как никогда остро свое одиночество в мире. Не тогда ли рождались и полные трагизма строки:

*Кто-то стонет на темном кладбище,
Кто-то глухо стучится ко мне,
Кто-то пристально смотрит в жилище,
Показавшись в полночном окне.*

Или эти:

*Куда от бури, непогоды
Себя я спрячу?
Я вспоминаю былые годы,
И плачу...*

Нашел бы Рубцов выход из кризиса? Убежден — нашел бы. Но слишком узко, слишком трагично переплелись дороги поэта и убийцы...

Потребовалось время, чтобы по-настоящему осознать, что мы потеряли. Сейчас, когда суммарный тираж книг поэта более четырех миллионов, а книг его все равно не хватает, когда в Тотье на высоком берегу Сухоны сидит неживой, из бронзы, поэт, когда в Вологде тысячи людей ходят по улице Рубцова и мимо памятника ему, когда песен на его стихи написано больше, чем самих стихов, кажется невероятным барски-пренебрежительное отношение к поэту при его жизни.

“Что имеем, не храним, потерявши — плачем...” — вечная горькая русская истина, которая уже десятки и сотни раз больно бьет по струнам нашей памяти...